

Глоток свободы не стоит десятилетия разрухи!

В юбилейном выпуске «Свободной Мысли» — главный юбиляр русской литературы 2014 года, Юрий Михайлович Поляков.

У нашего собеседника выдался необычный год — впрочем, как и у всей России. Праздничная суматоха поумерилась — и все вошло в привычную колею. На столе — первый том собрания сочинений в десяти книгах. Там — стихи, документальная повесть о фронтовом поэте Георгии Суворове, ранние повести, принесшие автору читательскую любовь.

Прежние романы переиздаются, новый — вот-вот выйдет. В театрах на пьесах Полякова продолжают аншлаги. В телевизионных дискуссиях он по-прежнему горой стоит за своего читателя — работающего, пытливого, юморного, но не ехидного. Оседлого русского советского человека, которому не нужны запасные аэродромы где-нибудь на берегу Адриатического или Мертвого моря. И галерка рукоплещет его словам гораздо громче, чем ложь. И по-прежнему эти люди ждут «Литературной газеты», которую в XXI веке преобразил Поляков.

Мы разделили беседу на два направления, без которых Юрия Полякова трудно представить: это литература и политика.

Литература

— Герои Ваших книг — не сплошь единомышленники, но Вы их любите. И ЛГ подчас публикует идейных противников, в каждом номере — разные точки зрения. Это Ваше кредо?

— Все начинается с истории. Мы помним, что «Литературная газета» была когда-то задумана Дельвигом и Пушкиным, а потом возобновлялась по инициативе Горького именно как газета, которая объединяет разные точки зрения, разные направления и в искусстве, и в общественной мысли, и в экономической мысли, и в политической мысли. Не случайно она возникла именно на излете вот этого архиреволюционного периода в своей новой версии в 1929 году. На ее страницах сходились такие люди, такие мнения, которые существовали, в общем-то, порознь, которые противостояли друг другу — это называлось полифоничность. И все это в 1990-е годы было полностью утрачено. И закончилось чем? Когда я пришел в газету, стал разбираться, почему, собственно, читатели отвернулись от нее, в чем дело. Тогда ведь и интернет-версии еще не было, а «бумажный» тираж стремился к нулю. Стал смотреть выборку имен. Говорю: «А давно у нас была рецензия

на Распутина? — В 1991 году. — А на Белова? — В 1991 году». А шел 2001 год. И выяснилось, что огромный пласт литературы, общественной мысли — нравится он тебе, не нравится — был отторгнут. На 10 лет! Это литература, но такая же ситуация тогда сложилась и с публицистикой.

Я помню, когда Солженицын написал свою «Отповедь» потемщикам, которые обвиняли его в сотрудничестве с КГБ, то его жена, Наталья Дмитриевна, позвонила и попросила, чтобы «Литературная газета» это напечатала, потому что либеральные издания не хотели. А мы, конечно, опубликовали. Я всегда считал, что «Литературная газета» для того и существует, чтобы свести разные точки зрения. Если газета — это такое сборище единомышленников, она мгновенно становится неинтересной.

— И что Вы предприняли, кроме призыва писать о Распутине и Солженицыне?

Я помню, когда Солженицын написал свою «Отповедь» потемщикам, которые обвиняли его в сотрудничестве с КГБ, то его жена, Наталья Дмитриевна, позвонила и попросила, чтобы «Литературная газета» это напечатала, потому что либеральные издания не хотели. А мы, конечно, опубликовали. Я всегда считал, что «Литературная газета» для того и существует, чтобы свести разные точки зрения.

— Тут не все шло гладко. Первым делом мы возобновили рубрику «Если бы директором был я», которая была одной из самых знаменитых рубрик «Литгазеты» времен Александра Чаковского. Ну, думаю, сейчас нас завалят корреспонденцией. Вспомнил, как я, молодой поэт, шел по коридору и вдоль стен стояли, затрудняя проход, такие бу-
мажные мешки

с письмами, и письма, как опара, из этих мешков выпирали. Я спрашиваю у сотрудника знакомого: а что это такое? Это, говорит, письма в рубрику «Если бы директором был я». В основном о том, как сделать счастливой страну и весь мир. Я думаю, ну, сейчас нас завалят. Но пришло три шизофренических письма — и все. Я понял, что что-то произошло с читателем. То есть его так обманули не только власть, но и пресса, обманули его вот эти романтические ожидания периода перестройки, она его так разочаровала, что он понял, что лучше не читать и не писать. Лучше не предлагать ничего менять. Потому что, после того как ты понадеешься, тебе станет жить гораздо хуже. Оказывается, вернуть утраченную репутацию сложнее, чем с нуля ее зарабатывать. Эти 10 лет либерального помешательства очень дорого стоили. Читатель — это как изменившая девушка: пока я верю, что я у тебя один, — все

что хочешь; а не один — все, никаких разговоров. «У, как теперь окружена Крещенским холодом она!» Вот с газетой примерно то же самое: доказать, что мы верные и честные, — очень трудно.

— *Наверное, проще всего вернуть доверие, бичуя всяческие недостатки. Недовольных всегда хватает...*

— Если писатель, публицист во всем согласен с властью — он приспособленец, и доверия не заслуживает. Но если писатель ни в чем и никогда не согласен с властью — он негодяй. Когда я вижу людей, которые опять мечтают о баррикадах 1991 года, говорю: хорошо, это весело. Ходим, возьмемся за руки, друзья, пирожки дадут или печеньки, — но вы же понимаете, что после этого последует десятилетие 1990-х. В придачу со всем этим кошмаром, с потерянными поколениями, с людьми, утратившими профессии, уровень жизни, с преступностью, с новой кровавой борьбой за власть, когда каким-то шизофреникам, идиотам и бандитам надо за некоторое время отсеяться. Вспомните, кто ломанулся во власть! Я помню, мне кто-то из друзей показал состав Моссовета первого созыва на крупной фотографии, и оказалось, что 30 процентов состояло на учете у психиатра. Я допускаю, что там был десяток жертв так называемой политической психиатрии. Но не одна же треть! У нас столько диссидентов на всю страну не было — в мордовских лагерях их столько не было. Если журналисты, деятели культуры подталкивают страну к новой руине — разве можно им доверять? Кстати, многие, кто подталкивал к той руине, не стали жить в той руине — они уехали. Тот же самый Коротич уехал. Вот с такими людьми мы достаточно жестко идейно боремся, потому что никакой глоток свободы десятилетия маразма и разрухи не стоит. Давайте лучше гомеопатическими, мелкими глоточками пить свободу, но только больше страну не рушить.

— *Вы ведь к той разрухе подошли уже в ореоле писательской славы. Каково было начинать путь в литературу в советские времена?*

— Мой путь типичен для тех, кто родился в 1940—1960-е годы. Тогда хорошо работали социальные лифты. Выходец из любой советской страты при желании, трудолюбии и задатках мог состояться в жизни, в творчестве. Я рос в рабочей семье, не имеющей отношения к литературной сфере. В школе у меня была замечательная учительница словесности — Ирина Анатольевна Осокина. Она увидела и развила мои способности. Тогда отлаженно работала система литобъединений, писательских совещаний, подготовки первой книги молодого автора — сейчас к этому возвращаются в рамках Года литературы. Но получается не так честно, больше имитации. Существует стойкий миф о стесненном эстетическом, интеллектуальном кругозоре моего поколения. Это неправда. Да, мы знали: если пишешь ближе к реализму — проще издать; если экспериментируешь — сложнее. Были и определенные требования к политической лояльности. Сейчас наоборот: если в текстах больше эксперимента, с тобой носятся, даже если прочесть это невозможно. Но если ты реалист, к тому же социально ответственный, да еще озабочен русской темой, Агентство по печати тебя никогда не полюбит. А литературой почему-то рулит именно оно. Наше поколение прекрасно знает мировую литературу, мы читали все — и то, что было нельзя,

тоже читали. Знали и своих предшественников — в отличие от нынешних авторов, которые вообще не подозревают, что до них кто-то сочинял на русском языке. В мемуарах сейчас все — жертвы Советской власти. Одному вместо ордена Ленина дали «Знак Почета». Другому вместо четырехкомнатной квартиры — трехкомнатную. Кошмар! А ведь комсомол содержал экспериментальные театры, устраивал выставки молодых художников, проводил совещания молодых писателей. Да, у него, как у любой структуры, было много болячек. А что, нынешнее правительство идеально? Посмотришь в пустые глаза иного министра и горюешь: почему я не Гоголь?! Нет, я не отказываюсь от своей критики. Но это была критика молодого человека, еще не знавшего, что такое настоящий государственный развал. И к разрушениям я никогда не призывал. Убежден: нам и сейчас нужна молодежная структура. Ее нет, так как мы еще не выбрались из той колониальной модели, которую нам навязали в 1990-е годы. Тогда была установка: чем слабее государство, тем лучше обществу, потребителю, производителю, деятелям культуры. Через младореформаторов и либералов эту лукавую идею нам внушали государства, где контролируется абсолютно все. Там сейчас филолог-русист боится признаться в любви к Достоевскому — санкции!

— *Своих учителей не забываете?*

— Мне повезло. Ирина Анатольевна Осокина, ныне уже покойная, увидел во мне интерес к литературе, к рассуждениям о ней, занималась мной, готовила меня в институт и т. д. Сейчас не поверят, но — бесплатно. Вообще-то это было какое-то удивительное племя, поколение: никакой корысти в этом не было, а была только гордость, что вот наш ученик поступил в институт, стал кандидатом наук, стал писателем. Я помню, когда собрался на экзамен, директору школы (тоже, кстати, русистка была, тоже уже, к сожалению, покойная, Анна Марковна Ноткина) говорю: «Вот, на экзамены иду». Она: «Знаю, как там эти экзамены принимают, пошли». Я пошел сдавать экзамен. Лето, директор школы (что, у нее других дел нет?) сидит, ждет меня в коридоре. Я выхожу. «Так, какие вопросы задавали? Не перебивали? Выслушали?» — «Все нормально». — «Ну смотри, пошли». Такие были отношения. И я об этом вспоминаю, когда понятие «советский человек» превращают в ругательство.

Я очень многим обязан вот той советской системе поисков творческих людей. Не важно: и научной, и творческой. Вся страна была покрыта, вот как масонскими ложами перед революцией, сетью литературных объединений и студий — чего угодно, литературных объединений было больше всего. Если человек начинал писать — сразу попадал в литературную студию. Это был первый этап отсева — там сразу было понятно: это блажь или у тебя что-то есть за душой. Дальше начиналось это восхождение. И другое совершенно было отношение у мастеров, чем сегодня. Они испытывали радость, если видели в молодом человеке какой-то талант, если видели первые литературные победы. У меня был литературный учитель, руководитель первого семинара — ныне уже тоже, к сожалению, покойный. Он долго прожил — Вадим Витальевич Сикорский. Он был сыном переводчицы и жил в Елабуге, дружил с сыном Цветаевой Муром, и он вынимал ее из петли, когда она повесилась. Его вызвали из кинотеатра, он уже был взрослым юношей. Обаятельный человек. И у него были особенные брови: одна бровь поднималась,

если это плохо, а вторая бровь поднималась, если это хорошо. И вот все сидели и смотрели, какая бровь чаще поднимается. И я подсчитывал по движению бровей: получается у меня что-то или нет. Потом предисловие к первой публикации моей книги дал классик, один из лучших поэтов второй половины XX века, Владимир Николаевич Соколов и всячески поддерживал. Еще помню, было совещание. Это очень важная мысль. Вели совещание два поэта — Римма Казакова и Вадим Кузнецов, который был заведующим отделом поэзии «Молодой гвардии», оба покойные уже. Они были представителями разных литературных партий: он был — такой почвеннической, причем даже жестко-почвеннической, а она — ближе к либерально-космополитической линии, то есть они были идеологические враги. Но когда они мои стихи прочитали — а у меня уже была готова первая книжка, — им мои стихи понравились, и они единодушно рекомендовали мне издать первую книгу, независимо от того, что были литературными врагами. Но они увидели во мне что-то такое, что решили рекомендовать. Сейчас я себе такой ситуации не представляю: люди из принципа не сойдутся на одном человеке. Тогда это было, и в этом — сила советской литературы. В литературе должна быть борьба, соперничество, писатели должны подначивать друг друга, критиковать — но не на уничтожение. Самое главное — литературные лагеря должны быть, потому что иначе не будет литературной борьбы. Но нельзя создавать из них гетто. Гетто, которым отгородились друг от друга и не замечают, как будто оппонентов просто не существует. Для патриотического гетто нет либерального гетто, а для либерального гетто нет патриотического. Кто выиграл? Все проиграли, и прежде всего читатели. Вот благодаря этим неприемлемым перестройщикам.

И продолжая список тех, кто помог мне в литературной судьбе, назову, конечно, Андрея Дементьева. Он сначала мои стихи печатал, еще в 1970-е годы, и публикации в «Юности» мало с чем можно сравнить из нынешнего литературного обихода. И Дементьев горы свернул, чтобы напечатать «Сто дней до приказа». Тогда, в 1987 году, сказать «нет» военной цензуре... Сказать: это не ваше дело, мы что хотим, то и печатаем, — и поставить «Сто дней до приказа» — это был очень смелый шаг. Я благодарен Андрею Дементьеву за это. Меня поддерживали писатели самых разных направлений. Из литературных учителей никогда не забываю Ларису Васильеву. А рекомендацию в Союз писателей мне давал Константин Иванович Шенкин. Это была такая бескорыстная поддержка молодежи только за то, что в ней что-то есть.

К советской литературе можно относиться по-разному. Кто-то скажет, что она служила идеологии; но и сейчас есть масса идеологизированной литературы, ничего не изменилось. Разница в том, что то была литература высочайшего профессионального уровня. То есть когда ты начинал писать, только что умер Трифонов, еще был жив Катаев, в расцвете пребывали Битов, Распутин, Астафьев — это был такой уровень! Это, конечно, формировало совсем другой подход и к себе: мы всех знали, всех читали. Если появлялся талантливый поэт на Сахалине, нам в Москве уже через неделю эти стихи показывали. Мы уже обсуждали, какой талант появился: смотри, какая у него метафора! Помню, Юрий Кабанков стихи опубликовал:

Чуть живая подводная лодка, зажмурившись, терлась о камни.
Солоным-солоня золотистая лимфа густого Японского моря...

О, какой поэт появился! Мы следили.

— *А нынешние не следят?*

— Профессионального любопытства стало меньше. Сейчас ко мне приходит в редакцию человек и приносит стихи иронические. Говорю, неплохие стихи, но у них есть один недостаток. — Какой? — Они очень похожи на стихи Николая Голоскова. — А кто это? — Говорю: молодой человек, чтобы не изобретать велосипед, надо почитать, что до вас писали. Как же так можно шагать в литературу, не поинтересовавшись, что до вас писали. Вот это — проблема. Багаж литературных знаний нам очень много давал. Потому что сейчас лауреат Букеровской премии или «Большой книги» — это только яркая этикетка. Там литературный уровень, уровень письма ниже, чем у среднего советского автора производственных романов. Тот лучше писал чисто по профессии. Писал хорошим языком, связными предложениями, у него не было через слово «который»! Зато была пресловутая «правда характеров».

— *Вас иногда называют последним советским писателем...*

— Сергей Владимирович Михалков помогал мне пробить «Сто дней до приказа». Правда, это у него не получилось, до приземления Руста на Красной площади ее не печатали, — но тем не менее. Где-то в ЦК, защищая мои «Сто дней...», когда стали говорить, что Поляков — антисоветчик, он ответил: вы с ним поаккуратнее — он не антисоветчик, он последний советский классик. Вот это была его фраза.

— *Но вас считали и бунтарем, возмутителем спокойствия.*

— Я попал в двойственную ситуацию. Дело в том, что я ведь дебютировал с повестями «Сто дней до приказа», «ЧП районного масштаба», «Работа над ошибками» — воспринимавшаяся гораздо острее, чем пресловутая «Школа», которая так шумела, а через полтора года про нее все забыли. «Работа над ошибками» — это была бомба о школьной жизни. Сейчас поставили в Самаре пьесу, очень хорошо она идет в театре. Я был признанный либеральный писатель. А когда я почувствовал, что страна идет не в ту степь, я, конечно, изменился. У меня с самого начала был такой принцип: когда я сажусь за письменный стол, я забываю, что я член партии, что у меня есть жена. В смысле, я высказываю то, что думаю, и описываю те интимные стороны, которые могут вызвать неприятности. Правда жизни дороже. И тут я написал «Апофегей», где вывел сатирически Ельцина, который становился тогда святым, иконой в восприятии демократической общественности. Повесть вышла в «Юности». На меня уже тогда первых собак спустили. Потом, в 1991 году, я выпустил «Парижскую любовь Кости Гуманкова», где уже сквозила ностальгия по советской цивилизации. Она еще существовала, еще только начала погружаться в пучину — и тут на меня совсем обиделись. Не вошел я в партию разрушения страны. Когда я в 1991—1993 годах начал печатать статьи, моя статья «Оппозиция умерла. Да здравствует оппозиция!» оказалась единственной публикацией в открытой печати против расстрела «Белого дома». Потому что оппозиционные газеты закрыли — «День», «Советскую Россию», «Правду». Либеральная пресса, естественно, прославляла власть карающую. Это теперь эти самые либералы, которые славили репрессии, говорят: «Ах, какая странная демократия у нас получилась! Неправильная демократия». А какая может возникнуть демократия в стране, где ее укрепляли с помощью

обстрела парламента из пушек? Она и вышла ущербная. Вы же сами повернули ее в другую сторону, вы же дали президенту сверхполномочия и одобрили расстрел парламента, а теперь удивляетесь, что у нас гипертрофированная исполнительная власть. Вы сами повели страну к диктатуре, ко всевластию олигархов и чиновников. Что вы теперь хотите? Это вы сделали! Я опубликовал эту статью «Оппозиция умерла. Да здравствует оппозиция!», после чего на два дня закрывали «Комсомолку». В результате я окончательно был внесен нашими либералами, прежде всего либеральной критикой, в «черный список». И дальше, что бы я ни писал, какие бы пьесы мои ни ставились, какие бы книги мои ни выходили, какие бы фильмы — они откликались однообразно, как по команде. Помню, как несли по кочкам фильм Говорухина «Ворошиловский стрелок», где я был соавтором сценария, — это кошмар, это не кино. И что? Как ругали «Демгородок» или «Козленка в молоке». И что? Это уже переиздается по 20—30 раз, все экранизировано, инсценировано. Меня просто абсолютно бездоказательно ругали — больше, конечно, за политические взгляды, или просто делали вид, что таких книг нет, просто не существует. Поэтому у меня оставался единственный выбор: писать такие книги, чтобы они, минуя критиков, шли сразу напрямую к читателю. И у моих книг сложилась такая судьба, что про них научных статей, диссертаций написано больше, чем рецензий. Вот такой парадоксальный факт.

Во многом это полезно, что тебя занесли в «черный список». Я знаю, что не могу себе позволить рыхлый сюжет, незаконченность, потому что если я напишу плохо, то меня доказательно обругают. Если я напишу хорошо, то просто промолчат. Но зато это будет жить, и это будут читать. Так и получилось. «Козленок...» экранизирован, «Замыслил я побег...» экранизирован, сто раз переиздан, «Грибной царь» экранизирован, недавно как раз прошла премьера, Галибин в главной роли, в юбилейные дни пришла. Сейчас про «Гипсового трубача» веду переговоры. Пьесы идут. Только в Москве идет шесть спектаклей. По стране все время езжу. Сейчас в Будапеште «Хомо Эректус» поставили. У Ширвиндта уже идет девять сезонов в огромном зале, на аншлагах. Я и пьесы начал писать в атмосфере борьбы. Я понимал, что никогда не получу «Золотой маски», меня никогда не похвалит какой-нибудь критик по фамилии Заславский и все такое прочее. Но я должен так написать, чтобы собрать полный зал, и это будет держаться в репертуаре долго. Только так я могу доказать, что это настоящая литература.

— *И что дальше? Борьба продолжается?*

— Коварство нашей профессии заключается в том, что никто не знает, когда ты остановишься в развитии, и ты не знаешь. Это может случиться в любой момент. Ты можешь проснуться, сесть за машинку или за ноутбук, а ты уже остановился в развитии, но сам этого не осознаешь. Ты будешь лудить все точно так же, только люди со стороны будут говорить страшное слово — исписался. Этот человек остановился в развитии. К этому надо быть всегда готовым. У меня это было в поэзии — просто в один прекрасный момент я это понял. Но поскольку я филолог, и у меня была кандидатская диссертация о поэзии, я сумел на себя взглянуть со стороны. Я вдруг понял, что как поэт могу писать стихи километрами, но лучше остановиться. И я тогда сразу стал пробовать себя в прозе, в критике, публицистике. Пожелать всем

нам хочется, чтобы вот эта остановка в развитии произошла как можно позже. Помните, как спрашивает басмач у красноармейца Сухова в «Белом солнце пустыни»: «Тебя сразу убить или помучиться хочешь?» — «Лучше, конечно, помучиться». Вот хотелось бы еще на литературном поприще помучиться, потому что есть какие-то замыслы, идеи. Сейчас заканчиваю новый роман. Пока он называется «Любовь в эпоху перемен». Думаю, он вызовет споры, потому что я решил написать о перестройке именно с такого бока, с которого о ней еще не писали. Я все время стараюсь выбрать какую-нибудь профессиональную среду, потому что люди не только совокупляются и едят, они же еще и работают — это не менее важное их назначение. На этот раз мой герой — журналист. Думаю, что многим людям, которые воображают себя волшебниками слова, мой роман очень не понравится.

Политика

— В этом году история сделала такие виражи, что политические обозреватели не раз сбивались с курса. А как Вам удастся попеть за злобой дня?

— Главная боль сегодня — Украина и Новороссия. Эта история не вчера началась. С 2001 года, когда я возглавил «Литературную газету», мы постоянно писали, что на Украине происходит формирование русофобского государства. Почему я, человек, занимающийся литературным трудом, это предчувствовал, а те, кто напрямую отвечал за эту сферу, не прочухали? Лет шесть-семь назад я пришел в кабинет очень высокопоставленного чиновника, отвечавшего за национальную политику, и обратился за помощью. У нас закрылось от безденежья приложение «Евразийская муза», которое поддерживало прорусских писателей и ученых в странах СНГ, на той же Украине. В ответ на просьбу я получил отказ: «Мне абсолютно неинтересны настроения прорусской интеллигенции вне границ России». Кстати, вы заметили, что про СНГ наши чиновники вообще вспоминают раз в три года? Такие вот государственные мужи вели политику подкармливания русофобов на евразийском пространстве, накачивая этническую спесь дармовым нашим газом, непонятными кредитами. Давно пора начать называть вещи своими именами. При коммунистах за провалы виновные несли наказание, их имена становились, как тогда говорили, достоянием общественности. А в последние четверть века все провалы России безымянные. Позорно прохлопали судьбу братского народа — и хоть кого-нибудь прилюдно пожурили?

— Зато Запад журит нас усиленно...

— И демонстрирует политику двойных стандартов в худших традициях. Ельцин проводил прозападную внешнюю политику — и ему прощались диктаторские выходки. Как только появился Путин с его идеей возвращения суверенитета, ситуация изменилась. Теперь нам каждое лыко в строку! Судите сами: запретили у нас гей-парады — и сколько упреков, сколько осуждения со стороны Запада! А когда в 1993-м расстреливали парламент — никто в мире как будто этого особо и не заметил! И вот сейчас, когда власть пытается как-то исправить ситуацию — да, с какими-то перегибами, порой с глупостями, — ей активно стали высказывать претензии.

— То есть корни проблемы в эпохе распада? В 1985—1993 годах?

— Ситуация на Украине показала: тогдашние ошибки оборачиваются катастрофами через 20—25 лет. Надо наконец объяснить: Горбачев и Ельцин нанесли колоссальный урон нашей государственности, развалив СССР по административным границам. Если затеяли цивилизованный «развод», то уж будьте любезны: с теми территориями, с какими вошли в Союз, с теми же и на выход! А принадлежность земель, приклеенных по административно-политическим гешефтам, определяется плебисцитом. В итоге и Абхазия, и Южная Осетия, и Приднестровье, и Крым, и Новороссия с самого начала пошли бы к нам — то есть к себе домой. Сомнений нет! И Россия сегодня просто восстанавливает историческую справедливость, точнее — не мешает этому, как делала в 1990-е годы при либералах вроде мистера «Да-с» — Козырева. Но процесс осложняется тем, что на Украине сейчас идет бурный этногенез. Он — как извержение вулкана. Можно злиться на вулкан, но это природа. Однако извержения, как и этногенез, тоже бывают разные. Есть такое понятие — «конституирующий чужой». Это когда группе населения, для того чтобы обособиться, нужно кого-то себе противопоставить. На Украине в качестве «чужого» избрали Россию и русских. Кроме того, украинский этногенез принял самую чудовищную форму — фашистской агрессии. Вот это самое страшное! И начинаешь задумываться: что ужаснее — падение рубля или гибель тысяч русских людей под битами «украшистов»? И понимаешь, что это несопоставимые вещи. Но у либеральной общественности другая шкала ценностей.

— *Вы строги к нашим либералам?*

— Не только к либералам, но и к крайним националистам. То есть ко всем радикалам. Либералы ради свободы готовы пожертвовать Россией, крайние националисты готовы ради России пожертвовать свободой, а иногда — и государством ради туманных интересов «этноса». На мой взгляд, надо искать какую-то середину и находить общий язык. И без России нельзя, и без свободы плохо. Если в других цивилизациях либерализм — это система ценностей, то в России он носит какой-то гормональный характер. Сейчас это заметно в отношении к Украине. Чистая биохимия. Например, недавно я сижу рядом с Макаревичем на эфире у Любимова, и певец молвит: «Вот, смотрите, только что в Великобритании прошел плебисцит об отделении Шотландии, где сепаратисты проиграли, — и все спокойно. Никакой войны. Надо учиться!» Я отвечаю: «Позвольте, и в Новороссии прошел плебисцит, только с обратным результатом. Почему же не спокойно? Киев должен был сказать: “Мы европейская страна и мы согласно демократическим принципам принимаем итоги референдума. А они из пушек по детям!” Макаревич посмотрел на меня как на ненормального. Ему, гормональному либералу, даже в голову не приходит принять результат референдума, если он ему не нравится. И зачем нам такой либерализм? Я же не виноват, что их буквально колбасит от всего, что укрепляет Русский мир и Россию. А когда страна накрывается, они счастливы, в душе расцветает сирень. Такая болезнь. К врачу надо бы...

— *А наше общество сегодня врачуют добросовестные лекари?*

— Сложилась странная ситуация: чиновники, которым сегодня вроде бы следует проводить политику президента и собирать страну, — это зачастую

те же самые люди, которые много лет все разваливали, растаскивали, разбрасывали камни. Увы, наверху, особенно в среднем звене, достаточно много персон, не отягощенных государственной мыслью. Они функционеры, иногда хорошие, но не державники. Я их описал в «Апофегее»; но при Советской власти они не доминировали, зато в 1990-е контролировали почти все, и теперь, забившись во властные щели, стараются сохранить либеральный подход к государству, как к жестокому излишеству. Я и мои единомышленники понимаем: без сильного государства Россия исчезнет, а они считают — чем слабее государство, тем лучше живет человек. При этом сегодня они вынуждены изображать из себя патриотов, государственников. Это касается и многих наших журналистов. У Мольера был «лекарь поневоле», а их я называю «патриотами поневоле». А ведь для человека быть патриотом, любить свою землю, своих сограждан, свое государство — естественно. Это чувство дано нам от рождения. Но с помощью культуры, истории, образования, в том числе исторического образования, это чувство может стать более мотивированным. С помощью других инструментов — таких, как телевизионная пропаганда, из человека можно вытравить патриотизм, что в 1990-е годы в нашей стране и происходило. Тогда антипатриотизм фактически финансировался самим государством. Это был путь к самораспаду. К счастью, государственная политика изменилась. Если бы не наш нынешний президент, наше государство, наше общество ждала большая беда. Нельзя смотреть на российский народ глазами другой цивилизации! ◆